

специалистов и которому философы не придавали достаточного значения. Философия есть опытное знание, и трагический опыт жизни имеет огромное значение для этого знания. Я больше всего расхожусь с Л. Шестовым в оценке познания. Он тоже служит делу познания. Познание имеет и освобождающее значение. Иногда кажется, что тут в споре с Шестовым слишком большую роль играет вопрос терминологии. Более всего пленяет в Л. Шестове, что на протяжении всей своей литературой деятельности он никогда ни к чему и ни к кому не приспособлялся, никогда не вульгаризировал своей мысли, не старался ее социализировать. В этом его благородство. Не принадлежа ни к какому направлению, он все-таки принадлежит русскому духовному ренессансу начала XX века и является одним из самых своеобразных мыслителей этой эпохи. Он насыщен темами великой русской литературы, которую он страстно любит и глубоко понимает.

А. М. ЛАЗАРЕВ

Лев Шестов (К его семидесятилетию)

Лев Шестов родился 13 февраля 1866 года в Киеве, где окончил гимназию, а потом юридический факультете со степенью «кандидат прав». Но его влекла не юриспруденция, а философия, и в дальнейшем это — жизнь уединенного мыслителя, посвященная философским трудам. Только в последние лет пятнадцать к философскому писательству присоединяется чтение лекций по философии на русском историко-филологическом факультете в Париже. А ближе на вопрос о биографических данных нужно ответить перечнем тем и дат его философских трудов*), ибо подлинная жизнь Шестова — в его философских

* Вот они: «Шекспир и его критик Брандес», 1898; «Добро в учении Толстого и Ницше», 1900; «Философия трагедии» (Достоевский и Ницше), 1903; «Апофеоз беспочвенности» (Опыт адогматического мышления), 1905; «Начала и Концы», 1908; «Великие Кануны», 1910; «Власть Ключей», 1923; «На весах Иова» (Странствования по душам), 1929 (почти три четверти этой книги были напечатаны в «Современных Записках»); «Скованный Парменид» (об источниках метафизических истин). Из журнальных статей нужно отметить две большие работы в *Revue Philosophique*: «Dans le taureau de Phalaris» в первых двух книжках 1933 г. и «Athènes et Jérusalem», 1935–1936 гг. Наконец, на днях выйдет, если уже не вышел, его большой труд на французском языке (в переводе с рукописи, еще неизданной): «Kierkegaard et la Philosophie

борениях. И те строки из «Мцыри», которые Шестов приводит, говоря о Толстом, хочется применить и к нему: он знал всегда

...одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

Меняются его темы, материалы, источники вдохновения: Шекспир, Ницше, Толстой, Достоевский, Плотин, Паскаль, Лютер, Киркегард. Но всегда исходный пункт его философии — трагизм человеческого существования, «вечное рыдание земли, теряющееся в вечном безмолвии небес» (Жорж Санд)¹. Или еще — как определял стоик Эпиктет — «начало философии есть сознание человеческого бессилия пред *Необходимостью*»². Но если и эллинские мудрецы, и философы нового времени (были, конечно, и исключения) видят исход в том, чтобы смиренно покориться неизбежности, в этом смирении видеть свою добродетель и в этой добродетели находить свое «высшее благо», то Шестов не может примириться с Необходимостью, какие бы возвышенные обличия она ни принимала: с необходимостью, которой пронизаны самоочевидности разума, истина, логика, не больше, чем с внешним принуждением. Он не хочет идеализировать необходимость. Он отвергает всякие моралистические утешения, всякий морализирующий идеализм: лучше уж самый прямолинейный материализм! Он хочет выявить подлинный лик необходимости, бездушный и неживой. Ибо, когда во всем своем нестерпимом ужасе предстанет перед нашим сознанием ее кошмарное царство, может вдруг зародиться мысль, ощущение: не наваждение ли эта ее власть, не наваждение ли так называемая «естественная необходимость» и самоочевидность истин разума, не тот ли «грех», который совершил первый человек, когда, соблазненный плодами с древа познания добра и зла, *познал Необходимость и утерял свободу?* Как в кошмарном сновидении самый ужас пред кошмаром может вызвать у спящего порыв к пробуждению, так для Шестова именно предельно-трагическое, последний ужас, безнадежность есть начало философии.

Но это уже не наукообразная философия, послушная самоочевидностям разума, а философия как «*борьба и преодоление самоочевидностей*». Конечно, касаться в краткой заметке тем Шестова — значит только называть их. Шестов не объявляет просто похода против разума и логики: здесь, на отмели времен, где нужно сообща вести борьбу за существование, нужны общеобязательные истины науки, как нужны нормы морали. Но он восстаёт против захвата разумом власти

Existentielle. Большинство его книг переведены на французский, немецкий, английский, голландский (частью и на японский) языки.

там, где речь идет о «последней» истине, о «едином на потребу», т. е. в философии.

Все мы равно, философы и профаны, исповедуем убеждение, что истина исторгает наше признание, что она *принуждает*, хотим мы ее или нет, ибо она зависит не от наших желаний, от того, что мы хотели бы, чтобы было, а от того, что на самом деле *есть*. Но Шестов этой *принудительной* истине, которая глуха к человеческим зовам, воплям и проклятиям, которой ни до кого и ни до чего нет дела, противопоставляет иную истину и говорит в философии не о таком видении, не «о таком глазе, который видит *то, что есть*, а о таком, при котором то, что он видит, *по его воле* становится тем, что есть». Истине, как обнаружению необходимости, Шестов противопоставляет истину, которая есть осуществление безмерной творческой свободы. Истинам разума — истину «откровенную», эллинской мудрости — Библию, Афинам — Иерусалим. Библия не считается ни с какими самоочевидными принципами, ни с какими вечными истинами. Там и над истинами есть Хозяин, и для Бога нет ничего невозможного. Бог может и однажды бывшее сделать небывшим, как Он вернул Иову здоровье, богатство, детей. Истины не «вечные», а «с сотворенные», и потому всегда, как все сотворенное Богом, благостные, служат Богу и человеку. Когда Бог сказал Аврааму идти в Обетованную Землю, то Авраам пошел, не зная куда. И он не имел нужды в знании, не имел нужды справляться, что есть: ибо там, куда он придет, и потому, что он туда придет, там-то и будет Обетованная Земля.

Можно подумать, что здесь у Шестова знакомый путь обращения от философии к религии. Но совершенно исключительная своеобразность и трудность мысли Шестова в том, что в Библии он видит источник не только религиозной, но и философской истины. Так, например, в рассказе книги Бытия о грехопадении заключена для него уже метафизика познания. Скажут, что Шестов смешивает разные планы духовной жизни и посягает на автономию философского познания. Но там, где дело идет о *последней* истине, не есть ли разделение этих планов — действие все того же древнего искушения, и не приводит ли оно в результате к тому, что и «Откровение должно оправдаться пред разумом — иначе никто с ним считаться не будет»?

В мышлении Шестова есть нечто освобождающее и глубоко волнующее. Припоминается то, что он говорит о самом страшном в трагическом опыте Паскаля: «...чувствуешь под собой раскрывшуюся бездну... кажется, все кончилось. И точно, что-то кончилось, но что-то и началось. Пришли новые, непостижимые силы, пришли новые откровения». Философия Шестова есть, конечно, стремление прорваться к иному *опыту*. Если при этом Шестов ставит под вопрос то, что мы склонны считать незыблемыми принципами всякого философствования, то и тогда, и даже *par excellence* тогда, его пафос есть истинно

философский пафос. Его мышление исключительно оригинально, но у него (и это — характерная черта его духовного облика) ревность об идее и ее судьбе вытесняет из сознания притязание на авторство. Он всегда как бы уходит в тень и выдвигает на первый план тех, кто, по его мнению, уже до него сказал то же самое. Таково, в частности, его отношение к Достоевскому и Киркегарду. Русская художественная литература (Достоевский, Толстой) владеет думами Шестова с первых опытов его философствования. Он пламенеет ее настроенностю и считает, что она есть самое ценное воплощение русской философской мысли. Но когда он проблематику знания, которая есть его тема, целиком относит к Достоевскому, то все же то, что Достоевский сказал *до* Шестова, обретает свой полный смысл только *после* того, как попадает в магнитное поле шестовской мысли. Или: об «отстранении этического» у Киркегарда, которого Шестов до последних годов едва знал по имени, т. е. об отстранении добра, когда добро посягает стать на место живого Бога, Шестов нередко рассказывает так, как если бы он, Шестов, никогда не заканчивал уже один из своих самых ранних трудов, словами: «Добро не есть Бог. Нужно искать того, что выше добра. Нужно искать Бога»³. А между тем и «отстранение этического», и многое другое Шестов проводит с упорством и смелостью, которых не хватало Киркегарду, не раз отступавшему.

Но если Шестов не притязает на исключительную оригинальность, то она все же — удел его *malgré lui*. В пьесе Ибсена корона достается тому из «претендентов на престол», который есть законный претендент и у которого есть своя «королевская идея»⁴. У Шестова тоже есть своя «королевская идея», потому что он — философ «Божьей милостью».

Г. Л. ЛОВЦКИЙ

Философские труды Л. И. Шестова

В день 70-летия Л. И. Шестова в читателе возникает естественно желание оглянуться на пройденный русским философом путь, по его книгам, как по вехам, проследить движение шестовской мысли. Для самого Шестова не оглядка на пройденный путь, не холодная осмотрительность раздумья, а неудержимое, страстное стремление вперед в страну обетованную, борьба последняя и величайшая за самое важное, за единое на потребу. Оглянешься — и, как Орфей, потеряешь самое ценное, свою Эвридику...

Уже с первой книгой «Шекспир и его критик Брандес» Шестов вступается за права человека, которого интеллектуализм отдал на поток